

# Анатолий Маляров

## Love-Love

*У меня был выбор: убийство или самоубийство.  
Я вспомнил о сублимации и — сочинил эту повесть.*

### Глава I

Ему заметно за тридцать, зовут Лавр Лаврович, хотя лавров он не пожинает. Тянет короткий курс сценарного дела в филиале Университета культуры, попутно подменяет заболевших, уволенных, хлопнувших дверью, почивших во Бозе преподавателей режиссуры на любом курсе. Держат за странную способность три-четыре пары изгаляться над предметом, теоретически и практически, в рамках и за рамками темы. Прогнали бы за вольнодумство исподтишка, но кем заменишь интеллектуальную шестерку? Нужно студенту выстроить вертикальную мизансцену — не стоит ковыряться в своей фантазии, Лав-Лав из рукава высыплет заготовки времен Мейерхольда, Любимова и Литко; забудет диссертант суть категорического императива Канта, Лавр Лаврович Корешков, походя и совсем не

оскорбительно, сформулирует; забудет декан, зачем пришел в кабинет, вызывает того же — шестерку, и план работы на день проясняется.

В квартире супруги, на Людной, девять, держится тише воды и ниже травы. На риторiku Галины Адамовны не напрашивается. Все равно спят отдельно.

— Сколько получил за месяц?

— Шестьсот. Грязными.

— А Петрович на твоей кафедре?

— Тысяча двести. Чистыми.

— А почему?

— Он со степенью.

— А ты — умник!

Избегает тусовок с дочерью Аней, девятиклассницей.

— Па! Мобилку бы...

— Полтыщи лишних нет.

— С рук можно за сотню.

— С рук — ворованные. И на три звонка.

— Мне все равно.

— Ну и мораль у нынешней молодежи!.. И сотня — у мамы.

— У людей компьютеры, Интернет, а у тебя допотопные книжки...

Как водится, на лестнице Корешков умен. Жене следовало отрезать про Петровича, мол, диссертацию он защитил двадцать лет назад,

«Марксизм и свобода творчества», раскромсав Ионеско и Беккета, которых не читал. Анечке следовало сказать, что он ее очень любит и без мобилки. А конкуренция в классе — удел парвеню, то есть — выскочек... Хорошо, что не сказал. От первой бы последовал ушат помоев, а со второй расстроился бы, проклял себя за неумение врать, воровать, даже пить и курить. Впрочем, последнее по бедности.

Соседи по подъезду тоже люди из другого теста. Одна, еврейка, вырубает под окнами ветки, чтобы видно было, чем там соседи промышляют. Вторая, бабуся, недавно завезенная из хутора, часто стоит в дверях и сокрушается:

— Знов воды нэма. Чым ти жиночки писькы поратымуть?

Рядом, в мусоросборник, шуршат полиэтиленовые мешки, звенят бутылки. Это с пятого этажа от отставных полковников, двух Василиев, не повоевавших, даже не полетавших штурманами из экономии керосина. Первый, сельский парень, оторвав смолоду пенсийку в две с половиной тысячи, не знает, что с нею делать, и по четыре раза на дню носит в паб через дорогу. Допился до того, что предлагает горисполкому, за договорную мзду, разгонять тучи над городом. А второй как привык с лейтенантов обеспечивать командующих виноградом и вином с совхозов,

легковушками с таможами, девицами с окраин, так и теперь бегают от партии к партии, от штаба к штабу, торгует мессиджами, сплетнями про соперников и котируется среди авторитетов.

На девятом этаже — скромный беженец из Сербии. Не живет, сдает почасово и посуточно площадь под естественные надобности. Вчера Корешков едва умом не решился. Сидит против подъезда, набирается смелости для встречи с благоверной. Проходит грация с телом, готически устремленным к небу, в развевающейся и прозрачной накидке, профиль царицы Семирамиды. Есть девушки красивые «по-моему» или «по-твоему», а эта — на любой, но изысканный вкус. Даже отвернулся, чтобы не захлебнуться слюночкой. Минуту спустя поднимает глаза: то же явление — разлетайка, готика, профиль. Только окрас чуточку бледнее да поступь робче. Двоится! Перепостился, думает про себя, перенапрягся продуктивного возраста мужичонко!..

От греха подальше! Выходит на сквознячок под арку, потом незряче шаркает к центру, надежд мало, но значных мест достаточно — сублимация.

У перекрестка, словно в долгом ожидании, — первая знаменитость полиса, Тар-Тар, то есть Тарас Тарасович Кармель, университетский профессор-филолог, поэт без дураков, даже лауреат высшей премии. Виноват, это Корешков ему,

грешным делом, прозвище прилепил при полном взаимном обожании. Единственный человек, которому эрудиция мешает. Студенты пасти рвут на лекциях. Лав-Лав как-то на фуршете сострил: «Упокоюсь, пусть над моим гробом держит речь кто угодно, только не Тар-Тарыч. Пока расскажет все, что он про меня знает, я стану дурно пахнуть». Кармель же единственный в вузе, кто любит Корешкова.

— Что говорит муза? — вопрос к рукопожатую.

— Махать нет смысла коромыслом. И не махать им нету смысла. — Это маэстро про нравы и про свои тускнеющие глаза. Серые, чуть водянистые, под бровями, такими же пышными, как его усы, и навывате, как его живот.

— А как же вселенская любовь?

— Львиная часть злодеяний побуждена любовью.

Рука не литератора, а скорее косаря или молотобойца, указывает на подвальчик:

— Окажите честь.

— У меня в карманах сквознячок.

— Не грешите пустословием.

На дне «пристани» склонили друг к другу головы двое культуртрегеров. Это судя по репликам:

— Он классный поэт.

— Что он написал?

— А ни строчки.

— Не понял.

— Бык тоже молчит, хотя понимает: ведут к живодерне.

— Понял.

Корешкову заказан «Гринвич», два раза, кофе и осетровая слойка. Себе же профессор и лауреат взял «Живчик». Прихлебывает и смотрит, смотрит, как коллега вдыхает коньяк, даже не глотая, как повторяет. Мазохизм: с возвышением кормильца по литературной и просветительской иерархии семья отняла у гения самое насущное право — пить. А были же времена: до искажения лица, до — в морду поклоннику, с ночевкой на полпути, с бомжами и врагами народа!

— Опускаемся, олимпиец!

— Ни счета, ни яхты, ни виллы. И ни Пикассо, ни Мане. И выстрел контрольный в затылок достанется тоже не мне.

И, выделив минутку для наслаждений душевной мукой, Тар-Тарыч огорошивает коллегу царским сообщением:

— Знаете ли вы, что в нынешнее лето на режиссерском курсе некому сидеть в приемной комиссии?

Тар-Тарыч говорит с расстановкой, как у себя в деканате, а Корешкова приподнимает легкий

хмель:

— Что за мор на люди! Мастера убоялись радиотрепа о неблаговидности поборов? Или не находят общего языка с родителями?

— Козлов-Отпущенский, известный антисемит, устроился на форум «Дети Израиля». Конотопская ведьма шабашит где-то на Ай-Петри или Карадаге...

— Фу, профессор! Вы пользуетесь прозвищами!

— С вашей подачи, коллега. Студенты, даже абитуриенты признательны вам за столь тонкие определения типов.

И тут самое судьбоносное:

— А не посидеть ли вам на трех турах?

Корешков уже видел себя сорвавшимся с места и мчащимся в актовый зал. Однако воспитание и потомственная лень придерживают:

— Я мало знаком с кухней... советы, протоколы, пикировка с членами комиссии, слезы не попавших в списки на следующий тур, претензии родственничков, звонки свыше...

— Вы слишком себя оберегаете, Лав-Лав. Видимо, чтобы потом одним рывком — и подвиг. Может, потому ваша диссертация залежалась в альма-матери, а?

...Подковерные средства массовой информации совершенней державных. В тот же

вечер ровным счетом на пятой ступеньке собственного подъезда дорогу Лавру Лавровичу перекрыл высокий, молочно-седой и благообразный подстарок:

— Живу тут неделю, а с вами не познакомился. Виноват. Полковник в отставке Леонтий Алексеевич Сойка.

Фамилия птичья, но тоже, видать, за три года сидения в среднем штурманском училище и семнадцать лет нелетания благодарная родина обеспечила товарища жильем и пенсией, в четыре раза выше зарплаты преподавателя.

Голос не командирский, скорее, астматический и отеческий:

— Вы из Университета культуры. Член приемной комиссии.

— Вы так осведомлены?

За спиной возникает молодой, грудной и девичий голосок:

— А мы читаем все, что теперь пишут на стенах. Рекомендуюсь: дочь, Тома.

Рядом вырастает готическое и прозрачное чудо, именно то, что Корешкову двоилось на ступеньках подъезда.

— Не откажите, зайдемте к нам в семнадцатую. На минутку... — сипит отец.

Да, пруха! На Корешкова спрос. Второй раз на дню угощение приваливает.



— Такому конвою повинуюсь, — говорит, впиваясь глазами в девушку и отыскивая данные для применения своей профессии. Кормиться, так не зря!

В семнадцатой квартире — новое потрясение: встречает точная копия Тома: и рост, и черточки лица, до последней, и блузка, и бриджи.

— Вы не первый тушуетесь, — говорит отец с уловкой в голосе. — Это мои близняшки. Та, что в карман не лезет за словом, Тамара. А которая скромная — Таня, по-домашнему Тася. В Киеве у меня еще одна живет...

— Надеюсь, не тройняшка? — пускается во все тяжкие гость.

— О, нет. Намного-много старше. — И широчайший жест. — Прошу к столу!

Ничего себе минутное сидение! Стол ломится яствами. Только теперь увязывается ехидная реплика супруги: «Вокруг нас все люди живут! Вот новый перебрался, так не режиссер, а заведующий хозяйством вокзального ресторана». Не сбежать ли? Но поздно: красавицы уселись напротив, рюмка наполнена коньячком, пьется само собой, как продолжение подвальчика. А хозяин обеими руками держит быка за рога:

— Как-то необычно, две сестрички одновременно поступают на курс. Но повелось, Тася за Томой. Нет, нет, никаких послаблений.

Только прослушать их репертуар. Что там надо? Стихотворение, басня, проза, сценка?..

— Да, но времени уже нет, — вяло брыкается Корешков.

— Неделя. Три-четыре занятия. Знаете, тут важно обжить девочек человеку оттуда. Ну, подтянуть, потребовать. Мы будем признательны.

— Ради Бога! Ради Бога! Я пока в отпуске...

— Ну вот и ладненько.

Лавром Лавровичем и здесь правят. Наемный рабочий, остарбайтер в собственном доме. Эта жжившаяся уступчивость!..

— Я в комиссии. Налагаются дополнительные...

— А кто узнает? Мы снимем отстраненную квартирку на девятом этаже для занятий, тридцать пятую, у серба...

Это теперь называется отстраненная квартирка. Ну, брат, повело! Залпом принимается вторая рюмка и созревает желание — отказать!

...Назавтра Корешков застаёт себя в тридцать пятой квартирке, время с двенадцати до пятнадцати. Видимо, у проституток сиеста на дому, кладут примочки и отплеваются. Сутенер же не позволяет площади простаивать и сдает ее под иную культуру.

Обстановка будуарная: квадратное ложе, лиловый торшер, специфическая утварь. Простыни

пропитаны потом десятка предшественниц. А нужен простор, помост, режиссерский столик.

— Сегодня займемся Тасей, — привычно командует Тома. И объясняет: — Я ведущая, потому что родилась на пятнадцать минут раньше.

«Младшая» обреченно встает на площадку.

— Она у нас еще в подростковом возрасте. Репертуар тинэйджера, но совкового. Покажись на люди, солнышко! — И Тома садится рядом с репетитором.

— А у меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике... — Лицо девушки и впрямь окутано детским горем, а рука оттянута ношей. — С тяжелой двойкой в дневнике. А все шагают належке. А все шагают тут и там, и просто так, и по домам. А возле дома номер «два» стоит автобус — номер «два»... и пароход издалека дал почему-то два гудка. И ноги тащутся едва... и ноги тащутся — е-два! И наклонилась голова, как голова у цифры «два»...

Корешков зажигается, правит акценты, просит повторить. Еще и еще. Потом читается басня. На этом истекают три часа урока. Успеваются только подышать одним воздухом с прелестными созданиями, даже маленько влюбиться. И забывается хоть что-нибудь узнать о Томе.

Второе занятие не лучше. В третье, когда уже категорически заявлена была очередь «старшей», та

не пришла. Повторили репертуар Таси. А эта, кроме текста, кажется, не произнесла ничего от себя. Подумалось, все ли в порядке с ее головкой, такой милой, ну просто от Боттичелли?!

И тут событие! Звонок в дверь. Тамара?

Еще не отворилась вся створка, как короткая швабра с размаху ложится на вспотевший лоб репетитора.

— Ага? Уже в тридцать пятой?! Я говорила тебе, что ты потаскун, а ты мне не верил! — В распахнутой двери подпрыгивает Галина Адамовна.

За спиной Корешкова визжит Тася. В глубине и снизу кто-то бежит по ступеням.

— Уймитесь! Уймитесь! — не зная, как обращаться с Галиной Адамовной при абитуриентке, мычит Лавр Лаврович.

Оба уже в комнате, сцепляются руками. В дверях появляется еще зритель — это, кстати или некстати, Тамара. Галина Адамовна соображает быстро:

— Ах, у вас групповуха! Модно, модно! Пресеку на корню!!

Простым словом распаленную супругу не укротишь. И Корешков находится, хватаясь за народный риторический прием:

— А вы, Галина Адамовна, не будьте такой, как ваша мать!

На миг жена столбенеет, тут же чувствует

двойное оскорбление, орет:

— А какая же моя мать?!

— А такая, как вы, — совсем с расстановкой говорит он.

— А какая же я, чтоб ты пропал!

— А точно такая, как ваша мать!!

Мельница могла бы вертеться до прихода следующих съемщиков. Выручает «старшая» сестра:

— Уважаемая соседка, надеюсь, вы не думаете, что здесь разврат и групповуха? Тут занятия с абитуриентами...

Женщина разом увидела двух абсолютно одинаковых девушек и захлебнулась.

— Что? Занятия? Мой взял халтуру?!

— Вы же видите. Хотите, посидите на репетиции? Отец наш только что вышел.

Ну и врунья! Такой и университет не нужен!

— Посмотрим, — сказала Галина Адамовна с остаточным гневом. — Посмотрим, что он принесет в клюве! — И все же пробежалась по двум комнатам и кухне, затем хлопнула дверь. Девчонки упали рядышком на пропитанный чужим потом диван и захохотали. Но и тут: Тома от души, Тася — с оглядкой.

...У просцениума — длинный стол. За ним вольготно усаживается четверо членов приемной комиссии. Пятый пристраивается на углу, как

непроходная невеста или клерк, в общем, с боку припеку. Это Корешков. Ему и поручается список абитуриентов. Какая удача! Сестры-близнецы Сойки оказываются последними: Тамара, потом Татьяна.

Молодежь читала разное и по-разному, от готовых эстрадных номеров до школьного бубнения у доски. Интересны коллеги в сидячей шеренге. После каждого исполнителя сцена пустовала одну-две минуты. Уважаемые члены подавались полуповернутой головой слева направо, и шла волна отрицательных кивков, пока не находился один, кто кивал согласно. Решение принималось. Лав-Лав читал эти пантомимы запросто: этот — нет, эта — нет, а этот имеет контакт с родственничками или покровителем. Если волна так и заканчивалась отрицательным мотанием, абитуриент мог сматывать удочки. Хотелось рывкнуть и выбежать. Потом подмывало дать в морду. Увы! Шестерке приличествует молчать, да и на бунт ушли бы десятилетия и целые поколения.

Предпоследней под софиты вышла Тома Сойка. Комиссия дружно выпрямилась. На девушке — петлюровский жупан, шапка-бырка, шаровары и сапоги. Лицо одухотворено, полно благородной сдержанности.

— Бий видлунав. Жовтосыни знамэна

затрипотили на станции знов...

Это хрестоматийная баллада из совкового учебника. В ней — рассказ о временной оккупации мерзкими петлюровцами какой-то станции. О том, как морда — куренной атаман — спрашивает у кучки пленных: есть ли среди них комсомольцы, а то, мол, жаль расстреливать всех. И тут же один отважный выходит и заявляет: «Я комсомолец. Стреляй!»

Зрелище на сцене другое. Бравый красавец-атаман проходит вдоль шеренги пленных, заглядывает каждому в глаза, ликует: мол, сине-желтые знамена вернулись на Украину! Все вы такие же, как и я, чернобровые... вокруг наше солнце и нивы... Все покорены обаянием атамана, своего парня. И только один, зазомбированный, перепуганный, срывающимся фальцетом выкрикивает: «Я... комсо... молец... Стре... ляй...»

Как выпрямилась комиссия, так и остолбенела. Все коллеги оттуда, из совков, стихи Сосюры знают на память. Что за перевертыш?

Тут перерыв тянется полчаса.

Ни одна голова не в силах кивнуть «за».

— Нас не поймет руководство...

— Есть хрестоматийное прочтение Сосюры. Что за штучки?!

— Да-да, нельзя же: семьдесят лет читали одно, и вдруг — прочитывает иное!

Это выкрикнул самый дальний коллега, лысоватый и пенистый тип. На расстоянии Корешков позволяет себе смелость:

— Аркадий Евгеньевич, вы тридцать лет как инструктор обкома партии, читали лекции по атеизму. А теперь вы преподаете историю религии и креститься учите студентов.

Горячая волна ударяет Лав-Лаву в грудь, он парит над столом:

— А вы, Петрович, защитили диссертацию сто лет тому назад на тему «Марксизм и свобода творчества». Вы раскромсали Ионеско и Беккета, не читая и не видя на сцене ни одной их пьесы! Теперь театры наперегонки их ставят!..

— А вы, Кирилл Янович и Ольга Прокофьевна, забыли, что мы набираем режиссеров, а не попугайчиков. И чем оригинальней прочитана вещь, тем нужнее нам этот абитуриент!..

В общем, крик учинился изрядный. В дверях давно стоит незнакомый молодой или моложавый мужчина в столичном костюме, причесан-припудрен — ну просто видение, призрак, фантом. И асмодейски улыбается, по Булгакову.

Комиссия проголосовала за принятие Тамары Сойки на режиссерский курс.

Татьяна на экзамен не пришла.

...Десять дней спустя со студенческим



билетом в руке Тамара принимала у себя в «семнадцатой» репетитора и соседа Лавра Лавровича. Был еще Леонтий Алексеевич. «Младшей» сестры не было.

— Она всегда мне перечила. Тихоня, а для меня — антипод, — поясняет Тома как можно деликатней.

Выпили, поздравили будущего режиссера. Деньги братъ Корешков категорически отказался:

— Татьяна ведь не прошла. А я работал только с ней.

— На меня вы сработали на экзамене! — это Тамара.

— Я даже не голосовал!

— Ха-ха-ха! Заместитель министра в дверях стоял — видел все!

— Гонорар я не возьму! — Это уже в дверях, гость.

— Но ведь Галина Адамовна что сказала?!

— До свидания!

Тамара двумя прыжками оказалась вплотную к Корешкову:

— Не берете. Заклинило вас... — И крикнула шепотом: — Я найду... Я изобрету способ отблагодарить вас...

Вот таким скандальчиком заканчивается первая глава.

И начинается романтическая история.

## Глава II

Третье утро начинается с вопроса Галины Адамовны, прямо с ванной:

— На службу идешь?

— А что там сегодня делать?

— Может, гонорарчик принесут?

Замирает Корешков перед дверью в совмещенку:

— Я дважды тебе докладывал: та, которую я готовил, не прошла.

— Да! — усиливается звук из-под душа. — Но другая-то прямо влетела!

— Извини, мне надо идти...

— Никуда тебе не надо идти. Просто дома заскучал!

О, если бы ненаглядная сознавала, насколько она ударила в точку. Даже не заскучал. Истомился, помаленьку понял, что означает психическая несовместимость. В последние дни думает: а ведь бывают биотоки, деморализующие индивидуума. Галина скажет слово ничтожное, а оно вызывает в Корешкове комплекс вины, неполноценности, что там еще есть у старика Фрейда!

— Позавтракал бы! — еще звучит в прихожей.

Лав-Лав уже топает между этажами. Можно бы лифтом, но нужно ждать. А это еще минута у

своей двери. Выходит во двор, шлепается вялым, чужим задом на скамейку, едва просохшую от остатков жвачки и сладкой ваты — следы перекуров школьников, — упирается взглядом в две недопитые пластиковые бутылки под ногами, считает воображаемых верблюдов: успокаивается.

— Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил?

Тамара Сойка сегодня в другом образе. В жилетке, кажется, на голом теле, в бриджах, в обтяжку и до колен, и с тросточкой. Из «Конька-горбунка».

— Здравствуйте, — говорит. — Нескладуха?

Из Корешкова хлынула нелепица:

— Да вот... Через пару дней начало занятий. Что принести студенту? В искусстве запустение, сам не в форме...

В ответ смешок из той же сказки и хлескание по бедру тросточкой:

— А я-то, грешница и простачка, подумала: утренние разборки. «А что ты в клюве ни черта не приносишь?» «А я не добыл!» «А ты и добудешь, так чужой птах отнимет!» Ха-ха-ха!

— Ну и молодежь пошла!

— Пошла, да не пошла. В смысле — не пошлая.

И уходит под арку — он, как на магните, поднимается и за ней ступает. Такими и плывут в

уличном мареве под редееющими кленами. Даже красиво. Он держится прямо, тощенький, милый; она — победительница из стихотворной сказки далекого, увлекательного века, царица.

А между тем цепь случайностей ведет Корешкова к закономерности. То есть девушка с тростью вдруг притормаживает — у известного подвальчика на углу; он едва не натывается на нее.

— Не это ли способ отблагодарить репетитора? — упрекает загодя он.

— Невысоко же вы себя цените!

И спускается в прохладу под едва слышный блюз. «Тихая пристань» — подмигивают огоньки.

— Те же и Тар-Тарыч, — ее голосок из полутьмы.

Теперь не спуститься следом значило обидеть двух: облагодетельствованную и благодетеля, если вести счет от себя.

Перед поэтом и профессором искрился в фужере тот же «Живчик». Перехватив взгляд коллеги, он цитирует:

— В здоровом теле здоровый дух... На самом деле — одно из двух. — Не видно под усами, улыбнулся, нет ли, но добавляет:

— Располагайтесь, честная компания, мест с запасом.

Корешков и впрямь взбадривается:

— Все тянет на места прежних злодеяний?

— Отец Герасим говаривал: «Видящий соломицу в оке ближнего не зрит в своем ниже бруса». Иже аз есмь глаголю: «Токмо в изобилии обрящешь обращение». — И широкий жест на иконостас бутылок.

И снова мазохизм двадцать первого века. Бывший пьяница оплачивает коньяк для коллеги, «Коблевское» для юной дамы, а сам сидит и с мокрыми глазами истязает свою закаленную в попойках душу. И лишь натешившись страданием, заговаривает, как принято у него в кабинете:

— Игорь Саввич свалился на нас снежным комом. — И поясняет студентке: — Это новый заместитель нашего министра. — Да-а, но взошло солнышко, даже два. Одно из них — вы, милая сойка. И высокий чин занялся делом Лавра Лавровича. Велел мне откопать его диссертацию, вечером прочел, а утром мне велел посидеть с вашим деканом и назначить вас, господин Корешков, руководителем первого режиссерского курса со всеми вытекающими заботами и благами. — И снова поднят фужер с «Живчиком».

— И потому вы здесь? — вырывается у Тамары.

— Я здесь в штате... был. Теперь — когда грустно и когда радостно.

Корешков готов был задержаться: с одной стороны, курс — его мечта, но с другой: на этом

курсе — Тамара Сойка. А тут пахнет блатом и служебными нарушениями. Черт возьми, все-таки он человек вчерашний. Дважды открывает рот и ни разу не произносит ни слова.

— Шепоток пройдет, — наконец бубнит поэт. — Я пять лет служил притчей во языцех, да примелькался. Теперь выстраиваю, кого вздумаю.

— Да, — гудит Корешков. — Тут опека, соседство, связи...

Тамара загорается мыслью:

— Связи, связи! Сплетни, сплетни! Чтоб связь не была сплетней, ее реализуют! — ляпнула и стушевалась.

Обожающий незатасканные идиомы поэт затряс брюшком и прыснул смехом.

Вечером Лав-Лав входит в свою квартиру смело: есть чем порадовать жену.

— Меня назначают руководителем курса. С полной ставкой.

— Вот видишь! А если бы утром я не сняла с тебя стружку?! Не сходил бы, не попросился бы! — и в таком духе все поздравление.

Тонус падает, возникает желание отказаться от курса... кому это в радость!

Из дальней спальни растрепанно звучит «Славянский танец» Дворжака. Так сигналият мобилки. Откуда бы в квартире «десять»? Мать купила дочери? Корешков идет на сигнал. Стучится

в картонную дверь, музыка умирает на лету.

— Да! — славный и слегка вызывающий голосок Ани.

— Что там музицирует?

— Мобилка.

— Какая мобилка?

— Сейчас посмотрю... «Нокия»!

— Мама купила?

— Для мамы дороговато.

Отец машинально толкает дверь. Дочь стоит у окна и миниаппаратик у уха.

— Звони, звони, я не помешаю, — с обычной уступчивостью говорит он.

— Я уже.

— Покажи свое средство связи.

Искрится металл, синяя эмаль окантовывает края.

— Одолжила, что ли?

— Сама не знаю. Вручили и велели отвечать по ней на вопросы. И самой звонить, куда хочу.

— Кто вручил?

— Случайный человек. Не назвался.

— И ты взяла? Мужчина?

— Женщина. Дают — бери, бьют — беги!

— Дитя, ты меня разыгрываешь! Мама знает?

— Ты первый. Пошумишь ты, потом перейду к ней на воспитание.

— Аня, для четырнадцати лет ты много

дерзишь.

— Я не солгала тебе ни на йоту.

Так же машинально Лав-Лав вышел в свою комнату, дверь прижал и дочкину, и свою, в зал. Набрал номер телефона семнадцатой квартиры.

— Вас слушают, — готовый к услугам девичий голос.

— Добрый день. А-а, э-э, Леонтий Алексеевич дома?

— Отсутствует. Слушаю...

Трубка глупо брошена на рычаг. Спohватившись, Корешков берет ее снова.

— Алло! Я прошу прощения, это Лавр Лаврович.

— Я с некоторым опозданием узнала. Здравствуйте.

Пауза. Удобно ли развивать мысль о мобилке? И тут ответ:

— Я могу ответить на все ваши вопросы.

— Да. Слушаю.

— Спрашивайте.

Оба смеются, тянут молчанку.

— Тут дочка Анечка...

— Мне нужно с нею поддерживать отношения. Она интересовалась мобильной связью. Пусть дитя потешится. Ничего плохого тут нет. У меня три аппарата валяются. Вам, наверное, показалось, что это все идут расчеты за рэпэтэ?



Полное затмение, рычажок нажимается, снова отпускается, набор цифр:

— Прошу прощения, нечаянно нажал. Стою и думаю, зачем вам связь с Аней?

— И это просто. У вас такие сдвиги в жизни, а я любопытная девица.

— До такой степени?

— До высшей степени. Соседи ведь, и психосовпадающие. Мы с Тасей ведь симпатичны вам?.. Не отвечайте. И вы нам очень, это мы заявляем во всеуслышание.

— Извините. Вы заняты, а я со всякими странностями. — И тут повышает голос: — Впрочем, странные ситуации творить именно вы мастак!

— Ой, мысль ударила в голову! Скажу, чтоб не упустить. На занятиях мы слышали от вас дружеское обращение «на ты». Что, телефон отдаляет?

— Еще раз извини... те. Так и буду чередовать «ты» и «вы».

— Извиняю... те. Минуточку! Если Галина Адамовна застанет Анечку с мобилкой, скажите, что это ей подарок за ваш труд.

— Галина Адамовна не достаёт, если в дом. Не приведи Господи из дому! Простите, мы заговорились по телефону.

— Да, да! Уж лучше пойти в подвальчик

«Тихая пристань» и проверить, истязает ли себя по своей программе наш поэт и благодетель.

Пауза длится, насыщенная, как говорят в театре. Видимо, с обеих сторон есть много заготовленных слов, только согласиться с ними не в состоянии ни тот, ни другой абонент.

— Тратим денежку? — Это вздох Корешкова.

— Из вашего счета, — чисто Томин ответ.

— Я бы предпочел, чтобы вы забрали мобилку.

— А я бы предпочла, чтобы вы остались на той высоте, на какой я вас вижу.

— Ой! Тут нужно поставить точку, чтобы не посадить сцену.

— Лав-Лав! — и щелчок в трубке.

Если слова прочесть по-английски, то точка в сцене — великолепна.

Присел человек и задумался: до чего же несовершенный, неубедительный трюк придумала Тамара Леонтьевна. Для первого семестра первого курса. А он сделал вид, что у нее — весомая причина юной соседке передать — пускай для временного пользования — «Нокию». Да, но в развитие фабулы добавлена подспудная деталь: глубокая заинтересованность в мужчине средних лет. Трогает этот прием тем сильнее, что до сего случая ни одна женская особь не проявляла к упомянутому персонажу даже мелкого

любопытства. Галина Адамовна ввела в свою квартиру только по несчастью, оставшись одна и убоявшись горького одиночества с младенцем. До сих пор она не может смириться с промашкой, с должностью первой добытчицы в доме, с тем, что уступала ему пару лет кряду, пока приручала. Это при ее-то исконном отвращении к хлюпику противоположной стати.

Лавр Лаврович привык, что он избран в мире быть ненужным. И вдруг кто-то произносит на английский манер «Лав-Лав». Хотел было пристроиться к сублимациям Кармеля, только наоборот. Сидеть против него и мучиться пить, а тот пусть мучится — смотрит. Хотел, да повременит.

...На следующее утро уже в дверях Галина Адамовна все же бодренько съязвила:

— Уже берешь борзыми щенками? Выпрямляешься, молодец! Только зачем к своим неблаговидным козням примешивать ребенка? — Вздохнула, чтобы подчеркнуть, как трудно ей смириться с нравами высших учебных заведений. Но, по всей видимости, придется. — Как говорит еврейская хохлушка с первого этажа: «Танцюй, вражэ, як пан кажэ».

И сочно хлопнула дверью. Порция отрицательных эмоций получена. На нынешний день, дай Бог, это все.

Но тут телефонный звонок.

— Слушаю, Корешков. А-а, Тамара Сойка?

Здравствуйте.

— У вас проблемы.

— Впервые от вас слышу.

— Так я их творю!

— Еще ко всему! И в какую сторону мне бежать?

— В подвальчик, в «Тихую пристань».

— Там машет коромыслом разрешитель всех проблем?

— Тар-Тарыч махнул в Карпаты, прощается с мамой своей на весь семестр.

— Кто же нас утешит?

— Будем расхлебывать сами. Можете быть в «Тихой пристани», ну, через полчаса?

— Императив в форме позитива...

...С порога виден желтый блик у камина. Хорошо, что иллюзорный, от естественного распаришься. В блике выпрыгивающие из корсета груди и длинные локоны, тоже желтые. Тома демонстративно дышит, создает атмосферу, подлая девчонка. Надо перехватывать инициативу:

— Так что за проблемы у меня еще?

— А еще что? — переспрашивает она и сама отвечает: — Ах, да, одна вечная и заслоняющая все остальные — Галина Адамовна. Послушайте, иудейская хохлушка сказала, что эта дама привела

вас в дом подростком.

— Ну, если хохлушка с первого этажа сказала!..

— Вы так и не успели погулять? Сразу взрослая супруга и младенец. Удача!

— Вы намереваетесь исправить мою долюшку?

— Попробуем. Угощайте.

— Я еще не заработал на вашем курсе.

— Уважаемый мастер, вы когда-нибудь тратились на даму?

— А и правда... Но, черт возьми, в чем моя проблема?

— Вы не успели собрать курс, а он уже разбегается. — И злой вздох.

— Чепуха! — вырывается у Корешкова. И тут же возникает его обычный гаденький страх. С оглядкой и шепотом спрашивает: — Много?

— Тринадцать процентов. Одна из девяти по списку.

— Чем это грозит?

— Подозрением, что с вами не хотят заниматься.

— Карамба! И кто эта одна?

Юная ведьма долго вбирает в себя воздух, качает с усилием головой:

— Я!

— Требуется выпить. Девушка! — не

оглядываясь, зовет Лав-Лав.

— О счете подумали?

— Я еще не подумал о своей судьбе...  
Получается, не ужились соседи в одной аудитории?

— Хуже. Подлянка! Я и поступала, чтобы перевестись в столицу. А тут подворачивается толкач.

Официантка с подносом стоит над головой. На подиуме — «Гринвич», «Коблевское», два коржика с икоркой, два пирожных, два кофе.

— Ваш обычный заказ, — говорит ушлая девчонка в переднике.

Корешков должен вылить на кого-нибудь желчь:

— А если я через год к вам зайду, вы будете помнить мои вкусы?

— И через два, и через три.

Тома хохочет, но как-то без участия глаз, лицемерит, плутовка. Он не прикасается к рюмашке. Молчат, кипят оба.

— У меня там есть где жить, — насилуя себя, ровным голосом сообщает Тома.

— Да? А тут вы на квартире?

— Там уровень культуры другой...

— Хочу жить столичной барышней?

— Понимаете же!.. Но ведь подло с моей стороны?

— Наша иудейская хохлушка не подсказала

вам: рыба ищет, где глубже, и так далее? И сюда свою руку молотобойца приложил Тар-Тарыч?

— Нет! Появились другие.

— Это уже задевает.

— Игорь Саввич.

— Почему не знаю?

— Знаете. Туман у вас в голове. Выпейте. Это заместитель нашего министра. Мы с вами оба ему сильно понравились.

— Так пусть переводит и меня!

— На первый курс? — и девушка уже хохочет искренне. — Если вы сейчас же не выпьете, вы договоритесь до скандала, а это не входит в мои планы.

— А что входит в ваши планы?

— Выпейте — скажу.

Он глотнул, зажмурился, распахнул уже покрасневшие глаза. Она сидит напротив, красива, с полуобнаженной грудью, дышит горячо и отчаянно.

— Я предлагаю вам короткое прощание. У меня. Отец и Тася в Киеве. Лифт мчится на пятый этаж, даже не замечая третьего. Всевидящие полковники сейчас на партийной сходке, сдают Украину за керосин. На службе ведь не полетали.

У нее совсем выпросталась грудь. Высокая без подпорки, пунцовая, с коричневым ободком вокруг соска.

— Стыдитесь...

Спрячьте, —

шипит

Корешков, нащупывая вторую рюмку.

— Не-а, — дразнит она его. А может, себя. — За угощение уплачено. Вставайте и следуйте за мной.

В тридцать с собачьим хвостиком лет идти за многообещающей девицей «на хату» не легче, чем одолевать по раскаленным углям стометровку. Не под силу идти, невозможно вернуться. Повезло: двор пуст, в подъезде тишина. Пока ждут лифта, скрипит дверь у хохлушки из еврейской семьи. Засечет она — прознает весь мир двора. Но дверца лифта успевает. Кнопка пятого этажа никак не нащупывается, потом кабина тащится вверх, словно к ней подцепились дюжина чертей и все сотрудники кафедры. Зато в тамбур и прихожую двери приотворены. Корешков приосанивается, ступает через порожки солидно.

Уверенной рукой молодая хозяйка защелкивает замки.

На ладони у нее — поднос с фужером и орешками.

— Сегодня у меня, как у одинокой молдаванки. Касса мааре. Угощайтесь.

— Я много пил...

— В кабаке вы пили, чтобы набраться смелости и войти в Касса мааре. А здесь примите, чтобы почувствовать себя гусаром.

— Когда вы иссякнете?



— Когда я иссякну, я умру. И погашу вселенную!

### Глава III

Широкую оргию можно устроить и вдвоем. Важно почувствовать себя в компании Вакха тысячи эдак две с половиной лет назад и где-то не здесь. Разумеется, с учетом чешского проекта здания, с полетностью звука с пятого на первый этаж, к хохлушке, и на девятый, в отстраненную квартиру.

— Мы будем орать шепотом и драться мягкими предметами, — делает установку хозяйка и пьет свое вино до дна.

Остаточным чувством Корешкову хочется быть Лавром Лавровичем, ввести отношения в возвышенное русло. Он приваливается к спинке высокого кресла и так мечтательно, давным-давно поставленным и забытым голосом произносит:

— Неисповедимыми путями блуждает любовь...

Тома вспрыгивает краешком ягодички на стол, даже сдвигает блюдо с салатом. И широко раскрывает глаза:

— Не надо смешивать любовь с сексом!

— Прошу прощения...

— Какая любовь у подростка, который тычет

отросток во все подходящие отверстия? У легионера Цезаря, сбрасывающего похоть в кобылку или коровку, которую завтра же зарежет и съест? У девяноста из ста супругов, разряжающихся на ночь, только бы забыть дневные поражения и уснуть?! Не держите меня за простушку и сами не будьте наивнячком.

Снова грудка выпрастывается из декольте, сосок шарит по кромке, ноги отрываются от пола, вытягиваются. Тома протяжно вдыхает, задерживает воздух:

— Вот тити. Две. — Она опускает змейку на груди — лифчика нет. — Две. Мои не курочки, не приседают от одного вида петуха. Они подсказывают. Требуют: выпейте на брудершафт.

Он еще пытается держаться в рамках:

— Куда же больше пить?..

Но поздно, бокалы поданы, руки сплетены. Пьет он под ее острым, даже злым взглядом. Чуть-чуть пригубливает она.

— Стекло о пол! — орет шепотом.

— А что завтра мама?

— У мамы в антресолях этого добра навалом.  
У папы в ресторане еще и еще!

И бросает бокал. Разбивается.

— К удаче. Теперь вы.

Нетерпение царит, она выхватывает бокал Корешкова и вместе с его рукой замахивается,

заставляет разжать кисть. Звон.

— Удача-два! И — родичание!

Красиво, плавно подается лицом к его лицу, шепчет:

— По главной сути жизнь проста: ее уста, его уста...

Его губы дрожат. Ее поцелуй мягкий, не похож на все ее порывы, и долгий. Вдруг она приседает, ускальзывает за стол.

— Я буду драться. Насилуйте. Я — Мария Стюарт, только через насилие!

— Где такая чертовка уродилась?..

Бороться с нею трудно. Ловка, сметлива. Отталкивается только грудью, как бы нечаянно обхватывает ногами и отгораживается подолом.

— После таких упражнений в постель упадешь только уснуть...

Он утратил себя, не припугнутый, но и не смелый. Вдруг останавливается.

— Простите, я хорош только на слова...

— Святой Боже, сколько лет, с подросточка, надо было умело и методично бить парнишку по темени, чтобы вышибить из него самца!

Кураж приходит и к нему. Одежонка с нее стягивается, как искристая кожа со змеи. Плавочки — в две перекрестные стежки — скатываются мастерски. А ведь никогда такую работу он не делал.

— Я... вас... не обижу...

— Это я к двадцати годам тратила бы силы на воздержание?

Обхватывает его всеми четырьмя и в такой способ мешает найти отраду. Шутит:

— Теперь спросите, кто был первым?

— И в голову не приходит...

— Верный знак ума у мужика!

Вдруг с неженской силой отталкивает:

— Покажитесь во весь рост. Я больше не могу...

— Опасная фантазия... перегретые эмоции. Я за вас боюсь.

— Вы за себя бойтесь.

— Я не хочу вас обидеть...

— Я тоже. Но как сложится!

Он, как убитый, ложится. Она сдирает с него рубаху, брюки, как старую кору с клена.

— Выпьем? — Это он.

— Мне своего хмеля достаточно. Не пью.

— А минутой раньше?

— То для вашего куража.

И теперь уже Тома хозяйка положения.

— Падай на спину! — сценический крик для одного.

Он приваливается к стенке за диваном. Она за ноги стаскивает его пониже. Укладывает вдоль, вытягивает его руки.

— Замри. Пусть живет только он!

Корешков забывается. Где-то парит. Тринадцать лет, оказывается, он постился. Трезвая, расчетливая дама пятью годами старше поначалу укладывалась рядом, командовала: «Давай». Потом: «Валяй к себе». В последние годы лишен и того. Только и радости, что дочка, его Аня, которая родилась за год до его появления в квартире Галины Адамовны...

В семнадцатой квартире темно. Горячо, ароматно, голо. Двое лежат и не дышат. Долго, долго. Потом красивая ирония из девичьих, нет, женских, умудренных житейским опытом уст:

— Апатия... Апатия — это отношение к половому сношению после сношения.

Бездыханная пауза. Затем горькое всхлипывание. Два кулачка к глазам — и запруженное усилиями воли рыдание.

— Я вас обидел? — трезвый голос Корешкова, без движения и участия.

— Много чести. Думаю. — И чувственным шепотом: — Красиво. Как все это красиво!

— К чему же слезы?

— Вот так, на похожем диване буду лежать я лет этак пятьдесят спустя. Одна, вся в морщинах, с астмой или чахоткой, с ревматизмом или недержанием мочи. Надоевшая всем, полузабытая, неподъемная. В перерывах между болями буду

звать мужчину... Хотя бы такого, как вы... Увы, никому и в голову не придет, что эта доходяга жаждет любви. Последней... И не дано... — Резкое икание, поворот на бок и подъем головы. На заплаканном лице — широкая улыбка, искорка в глазах: — Жизнь коротка, чтобы говорить «Нет!».

Восторженный ужас сковывает Корешкова. Что сказать в ответ? Как себя повести, чтобы сохранить высоту? Думается уже о завтрашнем дне. На улице с Томой как здороваться? А вдруг и впрямь в аудитории и на помосте репетировать придется? Ведь это же не образ спектакля будешь видеть, а вот эту затемненную комнату и разметавшуюся рядом красавицу. И эрекция неумная! Совсем деловая мысль. Там Петрович хочет избавиться от третьего курса. Не идет у него спектакль с разношерстными исполнителями. Поменяться бы с ним курсами. На первом старик любит нудить систему Станиславского: смотреть и видеть, слушать и слышать... Верю — не верю. Придумай биографию, внутренний монолог... Фу! Пойду завтра в ректорат, или как он у нас там теперь называется? Петрович с дорогой душой поменяется...

Очень хорошо — тоже не хорошо. Излишне одаренная молодежь на курсе — перегрузка для педагога.

— Я — чайка, я — Нина Заречная... Нет, я —

сойка. Серая, заурядная, слегка розовая, с хохолком на темечке, и всего сто шестьдесят граммов весом, и всего тридцать сантиметров с хвостиком, шилохвостиком, который все время дрожит. Почему хвостик дрожит? Потому, что боится утратить сегодняшний день. Уведут другие пищу, козявок, зернышка, сманят самца, который приглянулся, разрушат гнездышко. А я — сойка, я не смогу разорвать на части хищника, как того хочу. Мне останется только забиться в дупло на ветке и плакать от бессилия. Я буду плакать, а люди остановятся, заслушаются и скажут: «Как красиво поет птичка! Радуетя утру и солнышку...».

Две длиннопалые руки обхватывают голову Корешкова, рвут уши до боли — и сладко ему, мягкие губы едва касаются глаз. Вот так у Томи: все тело бьется и мечется, ноги лежат больно, руки цепки и не в меру сильны, а губы — нежны, мягки и нерешительны.

— Прощайте, благодетель! Вы не бесталанны, если бьетесь за меня...

И оторвавшись, уже на ногах:

— Прощайте. Может быть, мы когда-нибудь свидимся.

...Директора звали Жилин. Но это до появления в университете Лав-Лавы. Теперь директор — Жилин-и-Костылин, реминисценция «Кавказского пленника» Толстого. Так же, как

известный журналист Минин теперь по-уличному Минин-и-Пожарский, — красивое извращение от Корешкова. Вербальный декор бытия.

Сидит Жилин-и-Костылин на стуле гостя, хотя и в своем кабинете. А в кресле руководителя откинулся русый стройный франт из новых людей во власти. Видать, богат или супруг богатой, что-то знает про жизнь или культуру, потому что уверенно сидит, так же, как раскованно стоял в дверях актового зала и по-домашнему смеялся над трюками Тамары Сойки.

Рядом перед лицами начальства устроились просители.

— А в чем проблема? — заламывает жесткие брови заместитель министра Игорь Саввич. — Мастерам-педагогам должно доверять. Продумали, решили — судьба студента в их руках. С них спросим на экзаменах.

Толковый парень этот киевлянин. А может, только понаслышке знает нашу кухню? Категорически судит либо невежда, либо дока. На сегодняшний день Корешкову безразлично, кто он, важно, что удовлетворил его просьбу.

Этого красавца и хватать приходится увидеть еще раз. Уже поменявшись с Петровичем курсовыми папками, осмотрев аудиторию третьего режиссерского, даже пробежав списки: всего восемь человек попадает к нему в мастер-класс...